



АНДРЕЙ
БЕЛЫЙ



АНДРЕЙ
БЕЛЫЙ



Московский чужак
Москва под ударом



Издательство АСТ
Москва

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)1-5
Б43

Серия «Русская классика» основана в 2008 году

Компьютерный дизайн *В. Воронина*

Белый, Андрей.

Б43 Московский чудак; Москва под ударом : [романы] / Андрей Белый. — Москва : Издательство АСТ, 2022. — 448 с. — (Русская классика).

ISBN 978-5-17-151470-9

От «Петербурга» к «Москве», от Аполлона Аблеухова к Ивану Коробкину, от зелено-болотного, «идеального по замыслу» имперского города, обреченного погибнуть в водной бездне, к живописно-пестрому миру, отягощенному «бременем времени», гибнущему и готовящемуся к возрождению.

Роман Андрея Белого «Москва», который создавался после Первой мировой войны и Февральской и Октябрьской революций 1917 года, был задуман как своеобразное полотно, повествующее о судьбах России.

Талантливый ученый профессор-математик Иван Иванович Коробкин изобрел оружие невиданной мощи, способное разрушить весь мир.

Естественно, шпионы немедленно учиняют настоящую охоту за его изобретением, плетут интриги, действуют то хитростью, то силой, добиваются своего — и человечество оказывается на грани катастрофы, шаг за шагом продвигаясь к гибели, которая кажется неотвратимой...

В настоящее издание вошли первые два романа эпопеи «Москва»: «Московский чудак» и «Москва под ударом».

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)1-5

ISBN 978-5-17-151470-9

© ООО «Издательство АСТ», 2022



Московский чудак



ПОСВЯЩАЮ ПАМЯТИ
АРХАНГЕЛЬСКОГО КРЕСТЬЯНИНА
МИХАИЛА ЛОМОНОСОВА

Часть I
МОСКОВСКИЙ ЧУДАК

Открылась бездна — звезд полна.
М. Ломоносов

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Подготавливая первую часть первого тома моего романа «Москва», я должен сказать несколько пояснительных слов. Лишь во втором томе вступает тема современности. «Москва» — наполовину роман исторический. Он живописует нравы прошлой Москвы; в лице профессора Коробкина, ученого мировой значимости, я рисую беспомощность науки в буржуазном строе. В лице Мандро изживает себя тема «Железной пяты» (поработителей человечества); первый том моего романа рисует схватку свободной по существу науки с капиталистическим строем; вместе с тем рисуется разложение дореволюционного быта. В этом смысле первая и вторая часть романа («Московский чудак» и «Москва под ударом») суть сатиры-шаржи; и этим объясняется многое в структуре и стиле их.

Автор

Москва, 1925 год.

Глава первая
ДЕНЬ ПРОФЕССОРА

1

Да-с, да-с, да-с!

Заводились в августе мухи-кусаки; брюшко их — короче; разъехались крылышки: перелетают беззвучно; и — хитрые: нет, не садятся на кожу, а... сядет, бывало, кусака такая на платье, переползая с него очень медленно: ай!

Да, Иван Иванович Коробкин вел войны с подобными мухами; все воевали они с его носом: как ляжет в постель, с головой закрываясь от мух одеялом (по черному полю кирпичные яблоки), выставив кончик тупящего носа да клок бороды, а уж муха такая сидит перед носом на белой подушке; и на Ивана Ивановича смотрит; Иван же Иванович — на муху: перехитрит — кто кого?

В это утро, прошедшее в окна желтейшими пылями, Иван Иванович, открывший глаза на диване (он спал на диване), заметил кусаку; нарочно подвыставил нос из простынь: на кусаку; кусака смотрела на нос; порх — уселась; ладонью подцапал ее, да и выскочил он из постели, склоня к зажатой руке быстро дышащий нос; защебив муху пальцами левой ладони, дрожащими пальцами правой стал рвать мухе жало; и оторвал даже голову; ползала безголовая муха; Иван же Иванович стоял желтоногим козлом в одной нижней сорочке, согнувшись над нею.

Облекшись в серый халат с желтостертыми, выцветшими отворотами, перевязавши кистями брюшко, он зашлепал к окну в своих шарканцах, настезь его распахнул и отдался спокойнейшему созерцанию Табачихинского перреулка, в котором он жил уже двадцать пять лет.

Заборный домик, старикашка, желтел на припеке в сплошных мухачах, испражняясь дымком из трубы под пылицы, спеваясь своим петухом с призаборной гармошкой (был с поскрипом он); проживатель его означал своей

карточкою на двери, что он — Грибиков; здесь, со стеною скрипел лет уж тридцать, расплющиваясь на ней, точно липовый листик меж папкой гербариев; стал он растительным, вялым склеротиком: желтая кожа, да кости, да около века подпек бородавки изюменной, — все, что осталось от прожителя в воспоминаньи Иван Ивановича; да — вот еще: прожитель играл с бородавкою скрюченным пальцем; и в этом одном выражался особенно он; каждым утром тащился с ведром испромозглости к яме, в подтяжках, в кофейного цвета исплатанных старых штанах и в расшлепанных туфлях; подсчитывал он и подштопывал днями под чижиком — в малом окошечке; под вечер сиживал на призаборной скамеечке; там подтабанивал прописи общеизвестных известий; и — фукал на руки, скоряченные ревматизмом; в окне утихал вместе с ламповым он колпаком — к десяти, чтоб опять проветряться с ведром испромозглости, — у выгребной сорной ямы.

Так мыслью о Грибикове знаменитый профессор всегда начинал свой трудами наполненный день, чтобы больше не вспомнить до следующего подоконного созерцания.

Вспомнилось!

Сон, — весьма странный, сегодняшней: выставил он из окна свою голову, — в точно таком же халате, играя на-брюшного кистью, оглядывая Табачихинский свой переулочек; все — так: только комната не относилась к пункту, определенному пересечением параллели с меридианом; она составляла лишь яблоко глаза, в котором профессор Коробкин, выглядывающий через форточку, определялся зрачком Табачихинского переулка, мощенного, нет, не булыжником, — данными математических вычислений — за вычетом желтого домика, черт дери, с этим самым окном, что напротив: окно — отворилось; и Грибиков, точно стенная кукушка, просунулся, фукая на переулочек; от «ф у к а» — булыжники, домики и тротуары как пырнут, распавшись на атомы пыли, секущие эти пространства; Иван же Иванович, сам пыль, привскочил, оказавшись

опять у себя на диване пред мухою — в пункте, откуда он был громко свергнут.

Припомнивши сон, он прислушался к очень зловещему зуду (мухач тут стоял) и принялся вымухивать комнату; вспомнил еще, как среди ночи его разбудили, подав телеграмму, в которой его поздравляли с избранием в члены — ведь вот-с — Академии — корреспондентом; профессор Коробкин причавкал губами, хватаясь за желтые кисти халата: ему, члену Лондонской Академии, члену «п ш е с п о л ь н о м у» Чешской (что значит «п ш е с п о л ь н ы й»), он ясно не знал; ну, почетный там, — словом: действительный), вовсе не следовало бы принимать то избрание; выбрали ж просто действительным членом Никиту Васильевича Задопятова; у Задопятова же сочинения, — черт дери, — лишь курцгалопы словесные; доктор Оксфордского Университета «п ш е с п о л ь н ы й» там член, мавзoley своей собственной жизни, — нет, нет: он ответит отказом.

Науку свою он рассматривал, как майорат; и ему не перечили: и про него говорили, что он — максимальный термометр науки.

В своем темно-сером халате зашлепал к настенному зеркалу: в зеркале ж встретил табачного цвета раскосые глазки; скулело оттуда лицо; распепёшились щеки; тяп-пился нос; а макушечный клок ахинеи волос стоял дыбом; и был он — коричневый очень; подставил свой профиль, огладивши бороду; да, загрустил бы уже сединой его профиль, и — нет; он разгуливал очень коричневый. Здесь между нами заметим: он — красился.

Быстрым рассказом прошелся он и вымолачивал пальцами походя дробь.

Кабинетик был маленький и двухоконный: на темно-зеленых обоях себя повторяла все та же фигурочка желтого, с черным подкрасом, себя догоняющего человечка; два шкапа коричневых, туго набитые желтыми и чернокоженькими переплетами толстых томов, и дубовые, желтые полки — пылели; а желто-коричневый, крытый клеенкою

черною стол, позаваленный кипами книг и бумаг, перечерченных все интегралами, был для удобства поставлен к окну; чернолапое кресло — топырилось; точно такие ж два кресла: одно — у окна, над которым, пыля, трепыхалась старая карья штора; другое стояло под столбиком, где бюстик Лейбница явно доказывал: мир — наилучший; на спинках рукой столяра были вырезаны головки ослабленных фавнов, держащих зубами аканфы; на столике же тяжелели: серебряное пресс-папье да витой зеленевший подсвечник из бронзы; пол, крытый мастикою, прятался черным ковром, над которым все ерзали моли.

Вниманье Ивана Иваныча тут обратили какие-то смутные смехи за дверью, ведущей в оклеенный рябенским крапом кривой коридорчик; он, шлепая туфлями, крался прислушаться: фыки и брыки: и — да-с: голос горничной:

— Ну вас...

— Какая вы, право же!

Дарьюшка вырвалась.

— Тоже мозгляк, а — за пазуху: барыне я вот пожалуюсь.

— Мед!..

— Ну же вы!

Этот голос — скажите, пожалуйста, — Митенькин! Быстро профессор в сердцах распахнул кабинетную дверь, чтобы вмешаться в постыдное дело; но не было фыков и брыков; профессор моргался:

— Ах, черт дери: да-с... Взрослый мальчик уже... Ай-ай-ай, надо будет сказать, надо меры принять, чтобы... так сказать... Надо бы...

Тут он задумался, вспомнив, как кровь в нем кипела, когда он был юным, когда напряженье рассудочной жизни его подвергалось атакам бессмысленной и глупотелой истомы; тогда со стыдом убеждался и он, что с большим интересом выглядывает из-за функций Лагранжа на голую ногу; упрятывал глазки за функции он со стыдом; голоногая Фекла, прислуга, жила с богатырского вида мужчиной, устраивавшим кулачовки; Иван же Иваныч отстаивал жен-

ский вопрос; ни о чем таком думать не смел; и страдал глупотелием в годы магистерской жизни своей — до явления Василисы Сергевны, поборницы всяких прогрессов; тогда был назначен на кафедру он математики.

Дверь — отворилася: в комнату, цапая по полу лапами, громко влетел мокроносый ушан, — Томка-понтер, коричневый, с желтою грудью и с шишкою на твердом затылке:

— Скажите, пожалуйста!..

Том опустил мокрый нос и, из черной губы протянув на ковер свои слюни, ушами покрыл этот нос, заморщил шерстистую кожу щеки, показал белый клык, трехволосою дернулся бровью; престащная морда! Пес силился явно смеяться.

— Пошел, Том!.. Где хлыст?

И при слове «где хлыст» Том вскочил: очень горько скосив окровавленный взгляд, поджав хвост, пробирался вдоль желто-зеленой стены; за ним шествовал по коридорчику очень раскосый, расплёкий профессор, цитируя собственноручного изобретенья стишок:

Грезит грызней и погоней
Том, — благороден и прост,
В воздухе, желтом от вони,
Нос подоткнувши под хвост.

.....

Здесь, в начале трагедии, должен дать ряд сообщений об очень известном профессоре.

Как говорится «а б о в о»*.

Иван Никанорыч Коробкин, вполне добросовестный доктор военный, при императоре Николае за что-то был сослан на дикий Кавказ; там родил себе сына — в фортеции, где защищали страну от чеченцев; младенческое впечатление Ивана — рев пушки, визг женщин: лезгины напали; невнятица перепугала; испуг воплотился: всей жизнью.

* С самого начала (*лат.*).

Семейство врача состояло из чад: Никанора, Пафнутия, Льва, Александра, Ивана, Силантия, Ады, Варвары, Натальи и Марьи. Когда мальчугану, Ивану, исполнился первый десяток, родитель, его привязавши к седлу, отослал обучаться; Иван переехал Кавказский хребет; на почтовых катился в Москву к надзирателю первой московской гимназии; в первом же классе стал первым; и этим гордился; его аттестаты успехов являли собой удручающий ряд превосходных отметок; за это смотритель, которого дети стяжали лишь двойки, безжалостно дирывал мальчишка; эта невнятица длилась до пятого класса, когда получил он с Кавказа письмо, извещающее, что Иван Никанорович помер; теперь предлагали ему самому зарабатывать средства на жизнь; с того времени Ваня Коробкин отправился к повару, славшему угол ему в своей кухне (за драной, сквозной занавесочкой); бегая по урокам, готовил к экзаменам он одноклассников, сверстников; эти последние — били его; словом, длилась невнятица.

Складывалась беспросветная жизнь; и понятно, что Ваня пришел к убеждению — невнятица жизни его побеждаема ясностью лишь доказуемых тезисов. Так вот наука российская обогатилась ученым.

2

Дома, домы, домики, просто домчонки и даже домчоночки: пятиэтажный, отстроенный только что, кремовый, весь в разгирляндах лепных; деревянненький, синенький; далее: каменный, серо-зеленый, который статуился аляповато фронтоном; карниз — приколонился, а полинялая крыша грозила провалом; все окна ослепли от ставней; дом прятался в кленах, его обступивших и шамкавших; свесилось там краснолапое дерево над чугуном загородки.

Тянулся шершавый забор, полусломанный; в слом же глядели трухлявые и излыселее земли; зудел свои песени зловещий мухач; и рос дудочник; пусто плешивилась

пустошь; туда привозили кирпич (видно, стройку затеяли); снова щепастый заборик, с домишкой; хозяин заохрил его: желтышел на пропеке; в воротах — пространство воняющего двора с желклой травкой; дом белый, с замаранным входом, с подушками в окнах.

Там около свалки двушерстая психа, подфиливши хвост, улезала в репье — с желтой костью; и пес позавидовал издали ей — мухин сын; с того лысого места, откуда алмазился битыш бутылок, подвязанной пяткой хромала тяжелая бабища потроховину закидывать; бочка-дегтярка, подмокнувши, темный подсмолок, воняющий дегтем, пустила; несло; сухим сеном, навозом и терпкостью.

Брошенный в лоб Табачихинский переулочек таков, гражданин! Таким был и остался; нет, желтенький дом — разобрали на топку.

Напротив — кирпично-коричневый каменный дом, номер шесть, с трехконной надстройкой, с протертыми окнами; фриз изукрасился лепкою из гирлянд четырех модильонов; а фриз поднимался пятью капителями гермошек, между которыми окна завесочками из канауса синего скрыли стыдливо какую-то жизнь; переблёлкые зелени сада — за домом, подъездная дверь (на дощечке: профессор Коробкин).

Она — отворилась: и переулочком зашаркал согнувшийся юноша, в куртке чернявой, в таких же штанах; неприятно растительность щеки шершавила; и лоб, зараставший, придал выраженью лица что-то глупое; чуть выглядывали под безбровым надлобьем глаза; все лицо — нездоровое, серое, с прожелтью, в красных прыщах; он под мышкою правой руки нес какие-то томики; в левой держал парусинный картузик.

Какая-то дамочка, юбку подняв и показывая чулочки, в разглазенькой кофточке, с зонтиком, застрекозила своей красноперою шляпой с вуалькою.

Забеленьбенькала там колокольня: стоял катафалк; хоронили кого-то.

Москва!

Разбросалась высокими, малыми, средними, золотоглавыми иль бесколонными витоглавыми церковками очень разных эпох; под пылицы небесные встали — зеленые, красные, плоские, низкие или высокие крыши оштукатуренных, или глазурью одетых, иль просто одетых в лохмотья опавшей известки домин, домов, домиков, севших в деревья, иль слитых, — колончатых, иль бесколонных, балконных, с аканфами, с кариатидами, грузно поддерживающими карнизы, балконы, — фронтонные треугольники домов, домин, домиков, складывающих — Люлюхинский и Табачихинский с первым, вторым, третьим, пятым, четвертым, шестым и седьмым Гнилозубовыми переулками.

Улица складывалась столкновеньем домов, флигелей, мезонинов, заборов — кирпичных, коричневых, темно-песочных, зеленых, кисельных, оливковых, белых, фишашковых, кремовых; вывесок пестроперая лента сверкала там — кренделем; там — золотым сапогом; раскатайною растараторой пролетов, телег, фур, бамбанищих бочек, скрежещущих ящеров — номер четвертый и номер семнадцатый полнилась улица.

Здесь, человечник мельтешил, чихал, голосил, верещал, фыркал, шаркал, слагаясь из робких фигурок, выюркивающих из ворот, из подъездов пропсяченной, непроветренной жизни: ботинками, туфлями, серо-зелеными пятками иль каблучками; покрытые трепаными картузами, платками, фуражками, шляпами — с рынка, на рынок трусили; тяжелым износом несли свою жизнь; кто — мешком на плече, кто — кулечком рогожевым, кто — ридикюльчиком, кто — просто фунтиком; пыль зафетюнила в сизые, в красные, в очень большие носищи и в рты всякой формы, иванящие отсебятину и пускающие пустобаи в небесную всячину; в псине и в перхоти, в злом раскуряе гнилых Табаков, в оплеваньи, в мозгляйстве словесном — пошли в одиночку; шли — по двое, по трое; слева направо и справа налево — вразброску, в откидку, враскачку, вподкачку.